

АНДРЕЙ ФУРСОВ

# «Нормальная наука» versus «аналитика»

Особенности состояния современного знания о мире

Время идет, и чем дальше в прошлое уходит война, тем больше она оставляет нам загадок и тайн. В традиционном нарративе о войне образуется все больше дыр. Растет число вопросов. Кто был главным поджигателем войны? Противоречия каких стран сыграли решающую роль в возникновении Второй мировой войны? Какую роль сыграли британцы и американцы в приходе к власти Гитлера? Кто виноват в поражениях Красной армии летом 1941 года? Почему «союзники» так долго тянули с открытием «второго фронта» и каковы были главные условия этого открытия? Готовилось ли руководство Третьего рейха к «жизни после смерти», к существованию в виде тайной глобальной сетевой структуры «Четвертый рейх», и если да — то с какого момента и как? Кто создавал Четвертый рейх? Какова судьба вождей Третьего рейха: действительно ли погибли те, кого официально объявили погибшими?

На часть этих вопросов пытаются ответить авторы книг, которые находятся в центре нашего обзорного эссе, выступают его связующим зве-

ном, своеобразным магнитом. Сразу предупрежу читателя: книг не из узконаучных, то есть они написаны людьми, формально не относящимися к науке как институту в социологическом и ведомственном смыслах слова. Авторы — журналисты, занимающиеся аналитикой. Но во-первых, это не значит, что мы имеем дело с нерациональным исследованием — профессиональная аналитика не хуже, а нередко лучше и точнее социально-исторической науки. Во-вторых, последняя не любит заниматься проблемами, о которых пойдет речь. Об этом явлении, его причинах имеет смысл поговорить, прежде чем перейти к разговору о книгах и той реальности, которую они отражают. Как говорил непопулярный сегодня В. И. Ленин, тот, кто берется за решение частных вопросов без предварительного решения вопросов общих, будет на каждом шагу наткаться в решении частных вопросов на эти нерешенные общие.

К сожалению, официальная наука, та, которую англосаксы называют «conventional science» или «conventional scholarship», мало занимается

---

ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, директор Института системно-стратегического анализа, академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия).

*Ключевые слова:* конвенциональная наука, аналитика, парадигма, «научные племена», «100% фальсифицированные крупные ученые», профессорско-профанная наука, Четвертый рейх.

острыми вопросами, делая вид, что официальные схемы и интерпретации в главном бесспорны, а дискутировать можно только по поводу деталей, мелких частностей. Причины очевидны. Во-первых, сама наука в ее нынешнем состоянии и ее организационных формах — структура довольно ригидная и иерархическая; пересмотр, тем более кардинальный, схем, которые подаются в качестве незыблемых и в подтверждение которых написаны тонны диссертаций, обесценивает или, как минимум, ставит под сомнение и написанное, и иерархию. И может вскрыться, что король-то — голый: кандидат «А» — вовсе не кандидат, а недоросль; доктор «Б» — вовсе не доктор, а двоечник; академик «В» — в лучшем случае продвинутый семиклассник.

Во-вторых, наука — только в идеале поиск истины. Когда-то в «Зияющих высотах» А. А. Зиновьев заметил, что современная наука не есть сфера человеческой деятельности, участники которой только и заняты поисками истины. Помимо научности в науке содержится и антинаучность, которая нередко выглядит более научно, чем научность; антинаучность, согласно А. А. Зиновьеву, паразитирует на научности и соотносится с ней, как сорняк и культурное растение. Сам факт существования антинаучности объясняется тем, что наука — массовое явление, управляемое социальными законами. В реальности же это один из организованных способов «жизнедеятельности множества людей, добывающих себе жизненные блага и добывающихся жизненного успеха (известности, степеней, званий, наград)», а формальная основа этого способа — деятельность, именуемая научной; формальная — поскольку «лишь для ничтожной части этих профессионалов научное

познание есть самоцель»<sup>1</sup>. В связи с этим, фиксирует А. А. Зиновьев, третье и, пожалуй, главное препятствие на пути научного познания социальных объектов — гигантская армия людей, профессионально занятых в сфере науки.

Парадокс? Отнюдь нет. По достижении определенного количества занятых лиц в любой организации происходят качественные изменения: мало того, что все большая часть работы выполняется все меньшим числом сотрудников, то есть нарастает балласт, который социально играет все большую роль, а его представители часто выталкиваются на руководящие должности со всеми вытекающими последствиями. Но главное — на смену реализации содержательных, сущностных задач приходит воспроизводство функциональных и формальных сторон и прежде всего — поддержание и укрепление иерархии. Последняя в науке лишь внешне имеет respectable академический вид, а по сути это обычная чиновничья «контора дяди Никанора», в которой старшие чиновники провозглашаются «крупными учеными», «членами» различных степеней. Как говаривал чеховский герой, а «заглянешь в душу — обыкновенный крокодил».

Теоретически в науке как форме профессиональной интеллектуальной деятельности авторитет должен определяться прежде всего профессиональными интеллектуальными достижениями. Однако на практике, поскольку наука развивается по социальным законам вообще и по законам социальности данной системы в частности, профессиональный (интеллектуальный, деловой) авто-

<sup>1</sup> А. А. Зиновьев. На пути к сверхобществу. М., 2000. С. 28.

ритет часто имеет тенденцию подменяться и вытесняться авторитетом социальным, ранговым, начальническим — и чем крупнее, а следовательно — бюрократичнее организация, тем в большей степени. Результат прост: крупными учеными, научными авторитетами провозглашаются (назначаются) начальники — вожди «научных племен» или даже «союзов научных племен», короче, если не научные ханы, то уж точно паханы. Такие паранаучные авторитеты — С. П. Новиков определил их как «стопроцентно фальсифицированных крупных ученых»<sup>2</sup> — получают соответствующие звания, автоматически дающие право на совершение (в реальности — присвоение чужих) «выдающихся открытий».

«Фальшивые ученые» нередко входят в роль и начинают всерьез считать себя не просто учеными, но выдающимися учеными, много сделавшими для науки, почему-то полагая объем корыта, в которое удалось всунуть рыло, показателем научных достижений. Как социальные персонажи «фальшаки» обрастают кличками, кланами, камарильями, челядью, которые выступают в качестве ядер «научных племен» («scientific tribes»), то есть именно того, что Т. Кун называл парадигмой — единством совокупности определенных подходов (способов видения реальности и постановки вопросов) и научного сообщества, продвигающего или даже навязывающего эти подходы в качестве доминирующих. Парадигма, дополним мы Куна советским опытом (впрочем, почему только советским? в западной науке дела обстоят

<sup>2</sup> С. П. Новиков. Вторая половина XX века и ее итог: кризис физико-математического сообщества в России и на Западе. — «Историко-математические исследования. Вторая серия». М., 2002. Вып. 7 (42). С. 354.

во многом так же, но там начальническая бездарь лезет не в членкоры и академики — там это не приносит значительных материальных благ, — а в мэтры научных школ и т. п.), есть иерархия авторитетов. Исследование происходит в определенном поле, по «понятиям» этого поля, часто с учетом мнения живого фальш-классика или установок усопшего (тотем, божок) авторитета, «приватизированного» стаей более или менее бездарных учеников или выдающих себя за таковых<sup>3</sup>.

Покушение на племенные авторитеты, как правило, карается — от мелких подлостей (при защите диссертации, прохождении монографии, избрании по конкурсу на должность, например профессора, и т. п.) до остракизма или войны на социопрофессиональное уничтожение, на вытеснение из дисциплины. Иными словами: авторитет есть социальное оружие, кистень парадигмы как социального индивида. Он — одно из средств поддержания традиции, то есть господства продукта (по)знания над процессом (по)знания, знания — над познанием, знания — над пониманием. Попробуй поставить под вопрос теорию относительности, Большого взрыва или дарвиновскую теорию эволюции, или теорию помельче, и на тебя обрушатся тысячи стрел научно-племенных лучников.

Известный науковед П. Фейерабенд верно заметил, что в науке оппонен-

<sup>3</sup> Подробнее о механизме клановости на примере науки позднесоветского общества см. А. И. Фурсов. Еще один «очарованный странник» (о Владимире Васильевиче Крылове на фоне позднесоциалистического общества и в интерьере социопрофессиональной организации советской науки). — «Русский исторический журнал». 1999. Т. 2. № 4 (особенно см. С. 408—434). См. также: П. П. Палиевский. К понятию гения. — «Пути реализма: литература и теория». М., 1974.

тов не столько убеждают, сколько подавляют: «Скептицизм сводится к минимуму; он направлен против мнений противников и против незначительных разработок... идей, однако никогда против самых фундаментальных идей. Нападки на фундаментальные идеи вызывают такую же “табу”-реакцию, как “табу” в так называемых примитивных обществах... фундаментальные верования защищаются с помощью этой реакции, а также с помощью вторичных усовершенствований, и все то, что не охватывается обоснованной категориальной системой или считается несовместимой с ней, либо рассматривается как нечто совершенно неприемлемое, либо — что бывает чаще — просто объявляется несуществующим».

Разбитая на зоны «научных племен», наука как иерархическая структура, освященная определенными интерпретациями, теориями, способами видения, болезненно реагирует на то, что может поколебать «средства освящения». В результате «нормальная наука» (Т. Кун) вытесняет все острое либо на свою периферию, либо вообще за свои пределы, объявляя ненаучным.

«Цель нормальной науки, — писал Т. Кун, — ни в коем случае не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, упускаются из виду». И далее: «Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно они к тому же нетерпимы к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает»<sup>4</sup>. Ну

а то, что не предполагается, но возникает, объявляется либо «ненормальной наукой», либо «нормальной ненаукой», табузируется или, в лучшем случае, маргинализируется в виде публицистики, «научпопа» и т. п.

Узкоспециализированная, бисерно-мозаичная наука продуцирует соответствующий ей тип образования, в котором узкая спецподготовка развивается в ущерб общетеоретической, панорамной, с одной стороны, и аналитике, с другой. Результат — «специалист-функция», «специалист-муравей». Тех, кто сопротивляется, стараются отсечь как можно раньше, не допустив в парадигму, а следовательно — и в науку, отчислить, не взяв в аспирантуру, не дать защититься и т. п. Круг замыкается, нормальная наука торжествует в своем марше к импотенции и смерти, то есть к кризису и крушению парадигмы, которая редко способна к саморазвитию. Реальное качественное развитие чаще всего происходит за пределами этого круга, куда, помимо прочего, выталкивают из нормальной науки тех, кто пытается заниматься, выражаясь кунновским языком, не загадками, а тайнами — то есть прежде всего теорией и методологией, ставит под сомнение парадигму. В таких случаях общество меняет тип отношения с *surveiller* («надзирать») на *punir* («качать») (привет Мишелю Фуко) и стремится нейтрализовать угрозу тем или иным «дисциплинарным» (во всех смыслах) способом. Не случайно серьезные ученые заговорили о «новой инквизиции» в науке<sup>5</sup>.

Мягкая форма «научно-инквизиционного» воздействия — это призыв не строить теории, а заниматься фактами, то есть работать в сфере индуктивного знания. Важное само по

<sup>4</sup> Т. Кун. Структура научных революций. М., 1977. С. 45–46.

<sup>5</sup> См. Р. А. Уилсон. Новая инквизиция. М., 2003.

себе, в «нормальной науке» оно получает гипертрофированное значение. «Нормальная наука» ориентирована на эмпирические факты, которые ее представители принципиально путают с научными. А ведь научный факт — это эмпирический факт, включенный в ту или иную теорию: вне теории, вне системы причинно-следственных связей, которые определяются только на основе теории, нет научных фактов, только эмпирические, стремительно превращающиеся в мусор вне каузальной системы. Не говоря о том, что эмпирический и источниковедческий идиотизм («идиот» по-гречески — «человек, который живет так, будто окружающего мира не существует») это не учитывает: природа коварна, но не злонамеренна (Эйнштейн), а человек в качестве объекта исследования или источника (хронист, летописец, историк, респондент) может не просто ошибаться, а сознательно искажать реальность. Причем одно искажение ложится на другое — и это подается в качестве эмпирической реальности. Я уже не говорю о переписывании и уничтожении письменных источников, а также об изготовлении, порой поточном, фальшивых источников.

Механику нормальной науки И. Солоневич описывал таким образом: «Профессор получает явление по меньшей мере из третьих рук. Явление попадает в профессорский кабинет, во-первых, с запозданием, во-вторых, в чьей-то упаковке и, в-третьих, подгоняется под уже существующую философскую теорию... гуманитарные науки недобросовестны, ...они сознательно искажают факты, явления и события — в большинстве случаев даже и небескорыстно. Но дело-то обстоит так, что при данной методике общественных наук они ничего не могут понять, даже если бы и пы-

тались сделать это добросовестно. Институты общественного мнения, вероятно, могли бы уловить сдвиги в психологии или в настроениях масс, установить некую закономерность этих сдвигов и на основании этого делать прогнозы, которые, по крайней мере, не были бы промахом на все 180 градусов. Но то, что мы называем гуманитарными науками, есть не только приблизительные науки. Это, если можно так выразиться, есть науки наоборот»<sup>6</sup>.

Эта «наука наоборот» — профессорско-профанная наука (поскольку обратная сторона «сухого профессорства» — профанация), по поводу которой на примере истории Гете заметил, что она не имеет отношения к реальному духу прошлого — это «дух профессоров и их понятий, / Который эти господа некстати / За истинную древность выдают». Все это не означает, что «нормальная наука» абсолютно бесплодна, нет; более того, бывают периоды (например, 1950—1970-е годы для социальных наук), когда она на подъеме, но эти периоды для «нормальной науки», во-первых, довольно кратки; во-вторых, развитие здесь все равно идет по логике «нормальной науки», а потому достижения носят скорее количественный, чем качественный характер. В любом случае, однако, сегодня «золотой век» «нормальной науки» далеко позади.

В равной степени сказанное выше не означает, что в «нормальной науке» нет сильных, великолепных ученых, — конечно, есть, и немало. Но чаще всего существуют они и добиваются результатов вопреки принципам организации «профессорско-профанной» науки, на борьбу с которыми у них уходит столько сил, что КПД

<sup>6</sup> И. Солоневич. Мировая революция, или Новое изгнание из рая. М., 2006. С. 380.

значительно снижается. При прочих равных чем меньше деятельность исследователя определяется правилами, принципами и логикой «нормальной науки», тем результативнее (в смысле «наука больших достижений») его работа. Наконец, значительно расширяет информационные и концептуальные возможности ученого, а также его сделочную позицию в «нормальной науке» функционирование в иной социоинформационной среде — будь то практическая политика, разведывательная деятельность и т. п. Так, Арнольд Тойнби-мл. каждый год писал не только очередной том «Исследования истории» или заготовку к нему, но и — в качестве директора Королевского института международных отношений, одной из «фабрик мысли» «закулисы», — «Мировое обозрение», представлявшее не что иное, как комбинацию политической и разведывательной аналитики. Поэтому работы Тойнби свободны от типичных огрехов «профессорско-профанной» науки, и он, как правило, не ловился на те глупости, на которые покупались даже такие мэтры, как Макс Вебер, чьим единственным *locus standi* и *field of employment* было «поле чудес» «профессорско-профанной» науки. Так и вспоминаются слова из песни: «Поле, поле, поле чудес — в стране дураков», где это поле чудес было помойкой, на которую «старшие товарищи» Лиса Алиса и Кот Базилио привели «младшего научного сотрудника» Буратино закапывать золотые. Профессорская наука чаще всего плохо связана с реальностью, поэтому, когда ее представителей выносит, например, во власть, возникают конфузно-катастрофические ситуации — будь то профессора Муромцев и Милоков в 1906 году или уж совсем фарсовые фигуры лаборантов и младших научных сотрудников в 1992-м. Впрочем, как

правило, профессора во власти (да и в реальной жизни) самостоятельными фигурами не являются — и это тоже говорит об их науке.

Наконец, в-третьих, наука существует не сама по себе, она — элемент властно-идеологической системы, того, что М. Фуко назвал «власть-знанием» (*pouvoir-savoir*). Впрочем, задолго до Фуко Велимир Хлебников написал: «Знание есть вид власти, а предвидение событий — управление ими». Классовый интерес, интерес «верхов», господствующих групп встроены в научный дискурс. Как заметил И. Валлерстайн, поиск истины — это вовсе не бескорыстная индивидуальная добродетель, а корыстная социальная рационализация отношений господства, эксплуатации и накопления капитала.

«Поиск истины, — писал он, — провозглашенный краеугольным камнем прогресса, а значит, благосостояния, как минимум созвучен сохранению иерархически неравной социальной структуры в ряде специфических отношений». И далее: «Научная культура представляла собой нечто большее, чем простая рационализация. Она была формой социализации различных элементов, выступавших в качестве кадров для всех необходимых капитализму институциональных структур. Как общий и единый язык кадров, но не трудящихся, она стала также средством классового сплочения высшей страты, ограничивая перспективы или степень бунтовщической деятельности со стороны той части кадров, которая могла бы поддаться такому соблазну. Более того, это был гибкий механизм воспроизводства указанных кадров. Научная культура поставила себя на службу концепции, известной сегодня как “меритократия”, а раньше — как “la carriere ouverte aux talents”. Эта куль-

тура создала структуру, внутри которой индивидуальная мобильность была возможна, но так, чтобы не стать угрозой для иерархического распределения рабочей силы. Напротив, меритократия усилила иерархию. Наконец, меритократия как процесс (operation) и научная культура как идеология создали завесу, мешающую постижению реального функционирования исторического капитализма. Сверхакцент на рациональности научной деятельности был маской иррациональности бесконечного накопления»<sup>7</sup>. Иными словами, общественная механика социальных интересов способна превратить рациональную по определению деятель-

ны систематически скрываются, а в качестве проблем подсовываются и рекламируются головоломки.

Иными словами, наука как исследовательский комплекс становится элементом того, что А. Грамши называл «культурной гегемонией» господствующего класса. Особенно ярко это проявляется в социальных и гуманитарных науках, которые нередко превращались не то что в системную функцию идеологии господствующего класса в целом (то, что К. Мангейм называл «тотальной идеологией»), а в конъюнктурную функцию идеологических представлений и заказа отдельных представителей или даже отдельного представителя этого класса.

Существует комплекс вопросов, сомнительное официальное решение которых фиксируется как единственно правильное, в котором нельзя сомневаться, а потому даже научное рассмотрение этих вопросов трактуется в качестве преступления — как минимум интеллектуального. Ясно, что все это ведет к деинтеллектуализации науки.

**И** так, существуют серьезные проблемы внутри научных и общесоциальных причины и механизмы вытеснения из сферы научного рассмотрения целого ряда проблем или недопущения целого ряда вопросов в научный дискурс. Речь, понятное дело, идет об острых проблемах, которые либо бросают интеллектуальный вызов научному ис-

теблишменту, грозя сдернуть с его мэтров тогу научности, либо угрожают социальным, классовым интересам тех, кто заказывает «научную музыку» и в случае чего может обратиться к «научной инквизиции». Зеркально этому существует комплекс вопросов, сомнительное официальное решение которых фиксируется как единственно правильное, в ко-

теблишменту, грозя сдернуть с его мэтров тогу научности, либо угрожают социальным, классовым интересам тех, кто заказывает «научную музыку» и в случае чего может обратиться к «научной инквизиции». Зеркально этому существует комплекс вопросов, сомнительное официальное решение которых фиксируется как единственно правильное, в ко-

<sup>7</sup> I. Wallerstein. Historical Capitalism with Capitalist Civilization. L.; N. Y., 1999. P. 82, 84.

тором нельзя сомневаться, а потому даже научное рассмотрение этих вопросов трактуется в качестве преступления — как минимум интеллектуального. Ясно, что все это ведет к деинтеллектуализации науки, и если конец XIII века в Европе ознаменовался разводом между Верой и Разумом, то в конце XX столетия наметился развод между Интеллектом и Наукой. С 1980-х годов, не случайно совпав с враждебными острой научной мысли неолиберальной контрреволюцией и ее производным — глобализацией, процесс деинтеллектуализации, банализации и одновременно детеоретизации науки об обществе шел по нарастающей, и только после кризиса 2008 года ситуация начала меняться — но только начала, даже до рассвета еще не так близко.

Куда же вытесняются острые, неудобные проблемы, исследование которых угрожает существованию научной иерархии и ее отношениям с властями предрержащими? Кто подхватывает брошенное другими в панике или в приступе алчности («доллар мутит разум») оружие и начинает действовать по принципу, который один датский ученый сформулировал как «В задачах тех ищи удачи, где получить рискуешь сдачи»? Сферы вытеснения — аналитически ориентированные журналистика, научно-популярная литература, эссеистика. Причем журналистика и т. п. здесь — форма, а аналитика, причем очень острая, — содержание. Агенты этой сферы — журналисты, писатели, выходцы из спецслужб, МВД, фрилансеры, наконец, те ученые, которые не могут реализовать себя в системе существующих парадигм по научно-профессиональным или идеологическим причинам, короче говоря, с точки зрения конвенциональной науки — аутсайдеры.

За последние десятилетия в мировом интеллектуальном пространстве произошла интересная вещь: рядом со все больше превращающимся в «игру в бисер» научным дискурсом возник и быстро набрал силу интеллектуальный дискурс, выполняющий те функции и пытающийся решать те задачи, которые не выполняет и не решает «нормальная», то есть «профессорско-профанная», наука. Именно в его рамках создано немало сильных работ, бросающих вызов «профессорской» науке со стороны — from outside. «Аутсайдеры» свободны от сковывающих и деформирующих исследования догматических установок, причисывающих исследователей под общую гребенку как в интеллектуальном, так и в социoproфессиональном плане. Они не связаны дисциплиной, установками и мифами научного племени, поскольку чаще всего работают в одиночку или небольшой группой. Они вне мейнстрима с его оргструктурами, на иерархию и дутые авторитеты которых им глубоко наплевать. Они, подчеркну, как правило, скептически относятся к авторитетам — и групповым (традиция, школа), и индивидуальным (власть начальника). Именно поэтому «аутсайдерами» часто становятся в результате вытеснения из «ниши» (*ср.* рецессивная мутация в биологии). Нередко же «аутсайдерами» оказываются, напротив, из-за принципиального нежелания делать социоиерархическую карьеру (в большой научной организации последнее есть необходимое условие карьеры собственно научной, профессиональной, деловой, но «Служенье муз не терпит суеты» и крысиных бегов). Поэтому проблема авторитета как власти для «аутсайдера» существует минимально и не сковывает его: он может позволять себе не заниматься головоломками, а приступить

к разрешению тайн, то есть базовых фундаментальных проблем, для него наука — это творчество, радость бытия, удовольствие, а это эмоциональное состояние, как заметил когда-то Гегель, резко повышает интеллектуальные возможности. Собственно, точный смысл слова «дилетант» (этот факт очень любил подчеркивать наш замечательный биолог А. А. Любищев) означает не что иное как «человек, получающий удовольствие от своей работы».

Наконец, «аутсайдеры», как правило, редко бывают узкими специалистами, в основном это универсалы-системщики, мастера синтеза, синопсиса и интеграции. И это еще одна причина, почему они оказываются на периферии оргструктур. Отсюда же их конфликты с системой рутинного, узкоспециализированного образования.

Это не значит, что в «аутсайдерском секторе» нет шарлатанов, сбжавших туда непрофессионалов, авторов завиральных идей, «непризнанных гениев», — есть, но не больше, чем в «нормальной науке». Это не значит, что в «аутсайдерском секторе» нет слабых работ, — есть, и много. Более того, даже в сильной аутсайдерской работе узкий специалист может найти уязвимые места — «срезать», как это проделывал один шукшинский герой, срезать — по мелкому, частному вопросу, за пределами которого узкий специалист не знает... ничего. Знать все больше и больше о все меньшем и меньшем — принцип «нормальной науки».

Кто-то скажет: надо объединить десяток узких специалистов. Но в том-то и штука, что, как говорил Эйнштейн, мир — понятие не количественное, а качественное: из тысячи джонок не сделать один броненосец, а из ста мышей — одну кошку. На экспертов,

узких специалистов можно полагаться в решении только узкоспециальных, экспертных вопросов. Во всем, что выходит за эти рамки, у них нет никаких преимуществ перед неспециалистами. Скорее наоборот: бремя мелкотемья, профессиональной ограниченности или даже «узкопрофессионального идиотизма», система корпоративных табу и т. п. — все это вкупе с принципиальной неполнотой индуктивного знания ставит специалиста, особенно в периоды кризиса «нормальной науки» (а мы сегодня переживаем именно такой кризис), в менее выгодное положение по сравнению с теми, кто анализирует проблему, рассматривая ее по-азимовски «с высоты».

Персонификатор «нормальной науки» концентрирует внимание на небольшой узкой сфере, исследуя «некоторый фрагмент природы (или общества. — А. Ф.) так детально и глубоко, как это было бы невысказано при других обстоятельствах»<sup>8</sup>. В результате детализация частных подменяет исследование целого, которое исчезает как объект исследования, сначала теоретические обобщения вытесняются эмпирическими, а эти последние — описаниями. В результате «нормальная наука» с определенного момента начинает превращаться в «бессмысленное нагромождение по существу бессмысленных фактов» (И. Солоневич), и в ней начинают культивировать тех, кто не умеет «находить суть за ворохом бросовых фактов» (О. Маркеев), тех, у кого отсутствуют быстролеткость мышления и концептуальная комбинаторика. Более того, именно этот тип начинает задавать тон в «нормальной науке», принципиально отрицая необходимость и возмож-

<sup>8</sup> Т. Кун. Структура научных революций. Р. 46.

ность теоретических обобщений, как сейчас принято говорить, «большого нарратива». Есть такие «экземпляры», которые открыто отрицают возможность создания на научной основе обобщающих, то есть теоретических трудов по истории мира в целом и крупных стран, потому что, видите ли, все темы прошлого дискуссионны; утверждается, что создание единой концепции будет носить идеологический характер, а потому надо писать работы, в которых просто перечисляются существующие точки зрения.

Читаешь такие перлы и задаешься вопросом: а имеют ли высказывающие их представление о том, что такое наука вообще и научная теория и методология в частности?

Во-первых, где гарантия, что множественность различных точек зрения — гарантия свободы от идеологии?

Во-вторых, общие концепции, теории строятся на основе не идеологии, а регулятивов научного знания — принципиальной проверяемости (верификация — фальсификация); максимальной общности, предсказательной силы (правило «бритвы Оккама» — *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*); преемственной связи (позитивная — негативная), или принципа соответствия, и некоторых других.

В-третьих, совершенно убого и нелепо выглядит тезис о том, что отсутствие единой точки зрения по большинству вопросов в той или иной области знания, будь то физика или история, биология или социология, делает невозможным создание общей теории. Если бы это было так, то наука — а это и есть прежде всего теоретическое знание — была бы невозможна; но мы-то знаем, что это не так. Разбирая различные точки зрения на

природу поля, Эйнштейн писал, что «сохраняется стремление к тому, чтобы многообразие явлений сводилось в чисто теоретическую систему из как можно меньшего числа элементов»<sup>9</sup>. Интересно, какую *идеологическую* схему собирался построить Эйнштейн? Зачем ему «большой нарратив»? А затем, что индуктивное знание имманентно носит незавершенный и недостаточный по своей природе характер; завершенность научному знанию обеспечивают дедукция и теория — несмотря на наличие различных точек зрения. Ну а тезис о том, что теория невозможна, потому что не может учесть всех деталей, попросту антинаучен: теория не может и не должна учитывать все детали — это функция описания; теория абстрагируется от деталей, отражая главное, сущностное, системообразующее, находя простое и ясное в сложном и запутанном.

В-четвертых, подмена единой концептуальной интерпретации (или двух-трех конкурирующих) перечислением точек зрения вообще выводит исследование за пределы научного знания, поскольку

— в таком случае предполагается, что все точки зрения равноценны, то есть отсутствуют научные принципы и регулятивы сравнения различных интерпретаций;

— в таком контексте «точка зрения» может быть только описанием;

— «мозаичный» подход исходит из ложной посылки о том, что исследователь идет от конкретного к абстрактному; на самом деле он идет от абстрактного к конкретному (метод восхождения от абстрактного к конкретному), а затем от конкретики — к более тонкой и содержатель-

<sup>9</sup> А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., 1965. С. 272.

ной абстракции; то есть опять налицо принципиальное непонимание природы научного знания.

Впрочем, в-пятых, довольно часто все объясняется очень просто. Как правило, о невозможности теории, «большого нарратива» говорят те, кто не способен на работу такого уровня, — это примерно так же, как если бы импотенты или кастраты убеждали всех нормальных людей в невозможности секса. О невозможности теории говорят, как правило, те, кто не способен ею заниматься. Рожденный ползать летать не может. Но почему он думает, что ползать рождены все? Почему полагает, что ползание (в данном случае — эмпирическое) — единственный способ передвижения? Да потому, что полеты других демонстрируют его убожество и неполноценность, причем в обсуждаемом случае не только профессиональную, но и общеинтеллектуальную и социальную.

Интеллектуальная импотенция, о которой идет речь, небезобидна. Она выполняет вполне определенную социальную функцию, как и постмодернизм, отрицающий возможность теории, большого нарратива. Теоретическое объяснение истории, прошлой или настоящей, — это всегда опасность для господствующих слоев, поскольку оно вскрывает причинно-следственные связи (этим и занимается теория), без понимания которых факты — это мусор, помойка, которую импотенты от науки тщатся представить в виде «различных точек зрения». Не случайно западные фонды охотно выделяют гранты на эмпирические и третьестепенные проблемы, но практически не поддерживают серьезные теоретические исследования — опасно. Поэтому гранты на изучение переживаний идентичности у геев и лесбиянок или гендерных отноше-

ний в Бирме XV века — пожалуйста, а на анализ политической стратегии буржуазии современного Запада — нет. И естественно, «нет» — теоретическим штудиям; «да» — в лучшем случае эмпирически-обобщающим, хотя эмпирическое обобщение и теоретическое обобщение суть принципиально разные, разнопорядковые процедуры.

Таким образом, сознательная детеритизация и сознательный же отказ от исследования острых эмпирических проблем, событий — две стороны одной медали, одного дискурса. Именно это заставляет пристальнее присмотреться к другому дискурсу — так называемому аутсайдерскому знанию, которое в противовес «профессорско-профанному» можно назвать инженерно-конструкторским, а еще точнее — аналитическим, поскольку к его достоинствам можно отнести системно-конструкторский подход к реальности.

Инженерно-конструкторский подход становится стержнем не столько дисциплины, сколько научной программы «аналитика». Разумеется, аналитический метод присутствует во всех дисциплинах, у которых самые разные реальные объекты исследования. Аналитика в качестве особой научной программы — это нечто иное. Это некий информпоток, в котором спрессована некая реальность и который и является объектом исследования; спрессованная реальность сквозь призму этого информпотока не столько исследуется, сколько расследуется. Специалист, занимающийся прошлым, в данном контексте выступает не столько как историк, сколько как следователь по особо важным историческим делам. Аналитика отличается от стандартных научных дисциплин не столько объектом исследования, сколько методом работы

с информацией, который носит не междисциплинарный, а над- и трансдисциплинарный характер. К этому подталкивает острота анализируемых проблем, связанных со спорными, неудобными, а нередко опасными вопросами, в связи с чем данная аналитика часто оказывается острой аналитикой, и сама острота накладывает на эту сферу свой специфический отпечаток.

Внешне аналитика может выглядеть как журналистика, эссеистика или что-то еще. Но это — внешнее, оболочка. В действительности мы имеем дело с реальным исследовательским комплексом, который, развиваясь параллельно с «нормальной наукой», является в сфере рационального знания компенсаторной реакцией на эту науку. И скажу прямо, при всех неточностях, погрешностях или даже ошибках этот комплекс в силу его эвристического потенциала намного более интересен, чем узкоспециализированная «профессорско-профанная» наука.

Особенно инженерно-конструкторский, остро-аналитический подход важен для изучения такой реальности, которая сознательно искажается, — как правило, это относится к политике, причем тайной: к переворотам, заговорам, геополитическим спецоперациям и т. п. «Настоящий политический заговор, — пишет В. А. Брюханов — весьма сложная система. Недаром гениальные заговорщики-практики совершали роковые ошибки, и редкий из заговоров достигал поставленных целей. В то же время к сегодняшнему дню создались и получили практическую отладку многие методы исследования сложных систем и управления ими — и дело не в формальном применяемом аппарате, а в принципах подхода к решению задач.

Мне трудно понять, как могут заниматься историей заговоров ученые, не знающие, как проходит сигнал по сложной радиотехнической схеме, или как работает система управления сборочным конвейером, или какие трудности встречаются при распределении финансов в крупных фирмах или государствах»<sup>10</sup>. В похожем ключе высказывался шеф гестапо Мюллер: «Надо бы поручить полицейским детективам писать историю. Она будет, возможно, не такой захватывающей, но, во всяком случае, куда более точной. Опирающейся на реальные факты»<sup>11</sup>.

К сказанному В. А. Брюхановым добавлю: мне трудно понять, как могут анализировать социальную и историческую реальность те, кто не имеет навыков работы с огромными быстротекущими массивами информации, кто не умеет систематизировать информацию и выдавливать из нее, как из тюбика, знание, кто не умеет плавать в информпотоках и работать, отталкиваясь от совокупности косвенных свидетельств, как это делают разведчики, аналитики спецслужб и криминальные журналисты. Важнейшие события чаще всего решаются втайне и не фиксируются документально (не говоря о том, что реальная власть есть тайная власть). Такие события можно вычислить только по косвенным свидетельствам, а для этого нужна дедукция — надо знать, где искать. И нужно воображение — качество, которое так ценили у ученых В. Гейзенберг, Ж. Гимпель и др. — список величин можно продолжать, если не *ad infinitum*, то долго.

<sup>10</sup> В. А. Брюханов. Заговор графа Милорадовича. М., 2004. С. 397—398.

<sup>11</sup> Г. Дуглас. Вербочные беседы. М., 2000. С. 220.

Одна из проблем, которую старательно обходит профессорская наука — судьба Гитлера и нацистской организации после войны. Профессорской науке все ясно: Гитлер покончил жизнь самоубийством, а Третий рейх «рассосался», превратившись в мелкие организации «недобитков». Как говорил Людвиг Витгенштейн, некоторые факты и проблемы едва упоминаются из-за их общеизвестности, что создает иллюзию ясности и лучше всякого маскхалата скрывает и проблему, и саму реальность. Особенно если на это есть политический заказ, трансформированный в общепринятую научную проблематику, с одной стороны, и список табуированных «для серьезного рассмотрения» вопросов, с другой. В то же время журналисты и аналитики вполне доказательно пишут о «Нацистском интернационале» — Четвертом рейхе как о мощной политической силе послевоенного мира и о том, что Гитлер, Борман и другие вожди рейха спаслись. В последнее время число таких работ выросло, будто кто-то хочет о себе напомнить. Но важнее понять, почему тематика Четвертого рейха и судьбы Гитлера становится весьма актуальной в наши дни. Мы видим, как в современном мире (в том числе и в связи с подъемом Германии, с тем, что она стала экономическим лидером Европы) намечается тенденция к чему-то, явно напоминающему реабилитацию Третьего рейха. Параллельно с этой реабилитацией идет процесс демонизации СССР, на который возлагается такая же вина в развязывании Второй мировой войны, как и на Германию.

Это очень выгодно главным поджигателям войны — англо-американскому капиталу, прежде всего финансовому, и обслуживающим этот капитал политикам. Сегодня их наследники

прячут концы в воду и к тому же пытаются вытолкнуть Россию из числа держав-победителей. Советский коммунизм некие силы на Западе и их «шестерки» в РФ пытаются приравнять к нацизму в качестве двух форм тоталитаризма, причем Третий рейх оказывается более мягкой формой. Ясно, что в самой Германии такой подход находит немало сторонников — эдакая интеллектуальная форма реванша за поражение от СССР, от русских. Поэтому все, что связано с Третьим рейхом, с невыясненными вопросами его истории, ролью американского и британского капитала, США и Великобритании в создании «Гитлер Инкорпорейтед», в спасении теми же американцами и Ватиканом нацистских преступников от заслуженной кары, послевоенной судьбы нацистов и их «интернационала», — весьма актуально в наши дни и может стать еще более актуальным завтра.

Причин тому несколько. Во-первых, целеполагание значительной части нынешних западных элит практически идентично нацистскому (новый мировой порядок, слой избранных, правящих миром, культ природы — экологизм/сатанизм, антихристианство, многое другое), да и на практике немало совпадений. В частности, надо помнить, что первым евросоюзом был гитлеровский и направлен он был на ликвидацию национальных государств в интересах финансово-аристократических олигархий: не случайно в 1930 году Ялмар Шахт призывал европейских финансистов поддержать Гитлера именно потому, что он уничтожит национальные границы в Европе и создаст «Венецию размером с Европу». Если же говорить о дне сегодняшнем, то этнолингвистическая регионализация Европы, от которой выигрывают прежде всего немцы, идет по

немецким лекалам, в различных региональных ассоциациях доминируют немцы, а сама эта регионализация работает на подрыв национальных государств как на составляющую курса на установление нового мирового порядка.

Во-вторых, Запад — причем не столько немецкий (Германосфера), сколько англосаксонский (Англосфера), — никогда не простит России (как бы она ни называлась) победы над Гитлером. Мало того, что эта победа сорвала планы глобалистов, она превратила Россию/СССР в сверхдержаву, на десятилетия перечеркнув усилия западных элит не только предшествующего 1945 году полувека, но огромной эпохи начиная с середины XVI века. Прав О. Маркеев: «С тех самых пор, как Россия осознала себя державой, всей мировой политикой управляла одна цель — сбить нашу Родину с этой оси»<sup>12</sup>. Всей мировой политикой, поскольку рулить ею стремился Запад, для которого Россия была геополитическим, экономическим, цивилизационным, то есть социосистемным противником, а еще точнее — опасным Другим, а следовательно — Врагом. Неудивительно, что вся история России с XVI века — это отражение агрессии исключительно с Запада, что откровенно признавали ученые такого масштаба, как, например, А. Тойнби-мл.

Разгромом Гитлера в 1945 году Россия продемонстрировала невозможность победы над ней путем внешней агрессии, и ставка в борьбе с ней Запада была сделана на подрыв изнутри с активным использованием классовой перевербовки на свою сторону части господствующих групп. В данном случае неважны субъект

и механизм вербовки конкретных лиц: немецкая фельдмаршалерия в рамках программы вербовки детей 12—16 лет на юге России (включая Ставропольский край), ЦРУ в рамках работы со стажерами Колумбийского университета или МИ-6, выкупающая информацию на крупного партийного руководителя у северокавказской мафии<sup>13</sup>. Важно другое — совпадение интересов целого сегмента советского правящего слоя с таковыми Запада и сдача этим сегментом страны в Холодной войне<sup>14</sup>.

Однако наивно думать, что после этой сдачи Запад, включая нацистский интернационал, связанный с определенными кругами и их закрытыми структурными связями, уходящими в 1920—1940-е годы, «простил» Россию. Нет, *vae victis* — «горе побежденным». Как заметил в своем интервью Александр Рар, победа в Холодной войне для США, Великобритании, Франции и Германии — ключевая, она «в глазах западного человека — такой же триумф, как в глазах русских — победа над Гитлером»<sup>15</sup>; в самой Германии господствует точка зрения, согласно которой американцы в 1945 году спасли Германию не только от Гитлера, но и от русских. В то же время в глазах Запада, как верно отмечает А. Рар, Россия еще не до конца капитулировала; полная капитуляция предполагает покаяние за коммунизм, уплату репараций (Западу мало изъятых из РФ в качестве дани за последние двадцать лет 2 триллионов долларов. — А. Ф.), установление у себя либеральной демократии.

Сказанное А. Раром можно вкратце сформулировать так: полная капиту-

<sup>13</sup> См. А. А. Резванцев. В сетях шпионажа, или «Час крокодила». М., 2011. С. 290—300.

<sup>14</sup> Здесь и далее по статье сохранена орфография автора.

<sup>15</sup> «Однако». 2013. № 3.

<sup>12</sup> О. Маркеев. Неучтенный фактор. М., 2008. С. 278.

ляция — это отказ России от самой себя, от своей истории и от своей идентичности. Как заметил в свое время Л. В. Шебаршин, Западу от России нужно только одно — чтобы ее не было. Причем не только в физическом смысле, но и в метафизическом, чтобы русские и в ментальном плане превратились в таких же биороботов, как нынешний средний западоид, в частичку послушной биомассы. Подчеркну: нужно Западу в целом, а не какой-либо одной стране. Некоторые геополитики в России полагают возможным союз со странами континентальной Западной Европы и чуть ли не противостояние вместе с ними США. В уже упоминавшемся интервью А. Рар верно напоминает: «В России не до конца понимают, что Западная Европа гораздо теснее связана с Америкой, чем это может показаться, если посмотреть на географическую карту. Европа опирается на поддержку США как самой сильной державы мира и ожидает, что Америка “подстрахует” Европу. Пока есть Америка, Европе не страшны внешние враги. Запад по-прежнему вдохновляется американским образом жизни, от которого, как у нас (в Западной Европе. — А. Ф.) считают, веет свободой. И после окончания “холодной войны” Запад уверен, что этим духом свободы надо осчастливить все остальное человечество. <...> Запад сегодня экспортирует “революцию среднего класса” по всему миру, и отнюдь не мирными средствами».

Здесь необходимо оговориться: то, что А. Рар назвал «революцией среднего класса», — это вывеска на публику, «для прессы». Речь идет об олигархической контрреволюции глобалистов, которые, объявляя «средним классом» те группы, которые легче поднять на антиправительственные действия, рушат неудобные

режимы. Но нас в данном случае интересует не это, а фиксация А. Раром сущностного трансатлантического единства Запада (при всем брюзжании европейцев по поводу Америки) в его негативном отношении к России — как на уровне элит, так и на уровне обывателя, которому основательно «промыли мозги», в том числе и по поводу того, что такое Россия и как к ней надо относиться.

В самом конце фильма К. Шахназарова «Белый тигр» есть такой эпизод. Постаревший и явно переживший 1945 год Гитлер, объясняя собеседнику мотивы действий нацистов, говорит, что Европа (именно Европа, а не только Германия) разгромлена, что его и Германию «представят как извергов рода человеческого, как исчадия ада. А мы просто нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа. Мы сказали: вы об этом думаете, давайте наконец сделаем это. Это как хирургическая операция <...> Разве мы не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они (европейцы. — А. Ф.) всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную угрюмую страну на востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе — Россию. Я сказал: просто давайте решим эти две проблемы, решим их раз и навсегда. Разве мы придумали что-то новое? Нет. Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности. Вот и все».

Кто-то скажет: мало ли что можно вложить в уста тому или иному персонажу в кино, фильм — не доказательство. Конечно, не доказательство. Но очень хорошая иллюстрация, осо-

бенно если вспомнить все: что континентальная Европа пахала на Третий рейх в его войне с СССР; что итальянцы, венгры, румыны, прибалты и поляки воевали на стороне Гитлера; что каждый третий танк для восточного фронта был собран на чехословацких заводах; что с англичанами и французами, как отмечали многие, включая К. Шмитта, немцы воевали совсем иначе, чем с русскими; что в последние дни войны, в момент *Endkampf* рейхстаг защищали эстонские и французские эсэсовцы; что англосаксы и Ватикан организовали спасение десятков тысяч нацистов, многие из которых с конца 1940-х годов стали работать в США против СССР; что сегодня Запад благосклонно смотрит на марширующих по улицам Риги и Таллинна эсэсовцев и в то же время негодует по поводу символики страны, победившей этих эсэсовцев. Монолог Гитлера из шахназаровского фильма великолепно иллюстрирует то, о чем идет речь — об общеевропейском отношении к двум главным жертвам холокоста — русским и евреям.

Ну а кому мало фильма, отсылаю к интервью человека, которого не заподозришь в любви к СССР, — К. К. Мельника, руководителя французских спецслужб в президентство де Голля, всю жизнь прожившего во Франции. Весьма перекликающееся по содержанию и тональности с раровским интервью называется «Франция не понимает и ненавидит Россию». Это говорится о стране, по поводу которой у нас существует миф, что французы относятся к России и русским лучше, чем другие европейцы<sup>16</sup>. Короче говоря, как пел А. Вертинский, «мы для них чужие навсегда». И эта

чужесть отчетливо проявляется при сравнении отношения друг к другу европейцев и американцев, с одной стороны, и их общего отношения к России и русским, с другой. Именно поэтому для нас столь важна тематика Четвертого рейха и связей нацистов с англосаксонским истеблишментом — здесь не должно быть никаких иллюзий, нужен трезвый взгляд: «мечтай, не став рабом мечтания» (Р. Киплинг).

Негласное табу на Западе на серьезные исследования бегства Гитлера и других руководителей Третьего рейха, на исследования Четвертого рейха — «нацистского интернационала» обусловлено политико-идеологической опасностью таких работ для западной верхушки, прежде всего англосаксонской. Ведь в таком случае вскрывается тесный союз нацистов и определенной части правящих кругов США и Западной Европы, роль нацистов в переформатировании самих США, в разведслужбах и политических кругах НАТО. Послевоенный союз очень влиятельной части, верхушки западных элит, с нацистами — вот что может вскрыть анализ «жизни после смерти» Гитлера, Бормана, Мюллера, Камллера и др. О роли англо-американцев в приходе Гитлера к власти, в создании Третьего рейха и его финансово-экономической и военной накачке этими верхушками я уже не говорю. Поэтому тематика Четвертого рейха важна не только в чисто научном плане, но и с точки зрения нынешнего этапа мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы, нынешней «пересдачи Карт Истории», нынешнего противостояния России и Запада, пока — психоисторического, информационного, а там — Бог весть...

Поэтому, в-третьих, совсем злободневные причины. Мы видим, как

<sup>16</sup> К. К. Мельник считает: что бы ни говорили французы, они никогда не простят России разгром Наполеона; но дело, конечно, не только в этом.

в нынешней Германии, вопреки тому, что было в 1990-е — первой половине «нулевых», нарастают антироссийские и антирусские настроения. Удивительным образом это совпадает с укреплением власти в самой России и развитием (пусть через пень-колоду и часто больше на словах) интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Не напоминает ли это разницу между 1920-ми и 1930-ми годами? Когда Советская Россия была слаба и главное — ею заправляли сторонники мировой революции, западная верхушка, пусть с неохотой, готова была закрыть глаза на «особые» отношения между Веймарской Германией и СССР, хотя Вальтер Ратенау заплатил за это (впрочем, только ли за это?) жизнью. А вот как только СССР приступил к индустриализации, коллективизации и окончательно отказался от курса на мировую революцию, символически выдворив из страны в 1929 году Льва Троцкого, англо-американцы начали двигать к власти Адольфа Гитлера, руша отношения между Россией и Германией и беря курс на их сраживание между собой. Нынешняя Российская Федерация, при всем ее сложном, мягко говоря, положении, — не ельцинская Россия времен «друга Билла» и, что важнее в данном контексте, «друга Гельмута». Усиление антироссийских настроений в Германии — это одновременно реакция трансатлантиче-

ских элит на укрепление сделочной позиции РФ в условиях нарастающих проблем США, их провала в Сирии и нерешенной проблемы Ирана, с одной стороны, а с другой — опережающая реакция на возможное сближение Германии и РФ. При всей близости германской и американской деловой и политической элит такой вариант остается иррациональным кошмаром для трансатлантистов. Впрочем, в истории, особенно на изломах, в условиях кризиса порой побеждает именно иррациональное. В любом случае, рост антироссийских настроений в Германии и на Западе в целом, обусловленный тем, что РФ не собирается полностью капитулировать (на западном новоязе — «демократизироваться»), тем, что мы пытаемся «собирать свои пяди и крохи», — это еще одна причина приступить к проблеме «нацистского интернационала», в основе которого и среди причин возникновения которого — тесные связи, а нередко союз англосаксонских и нацистской элит. Тем более что и хронологический повод есть: 2013 год — год 70-летия великого перелома в Великой Отечественной войне. 70 лет назад Красная армия сломала хребет вермахту и погнала его nach Westen, чтобы два года спустя одержать полную победу — нашу Победу, которую, как стало ясно в 1944 году, мы одержим и сами, без так называемых союзников. ◆